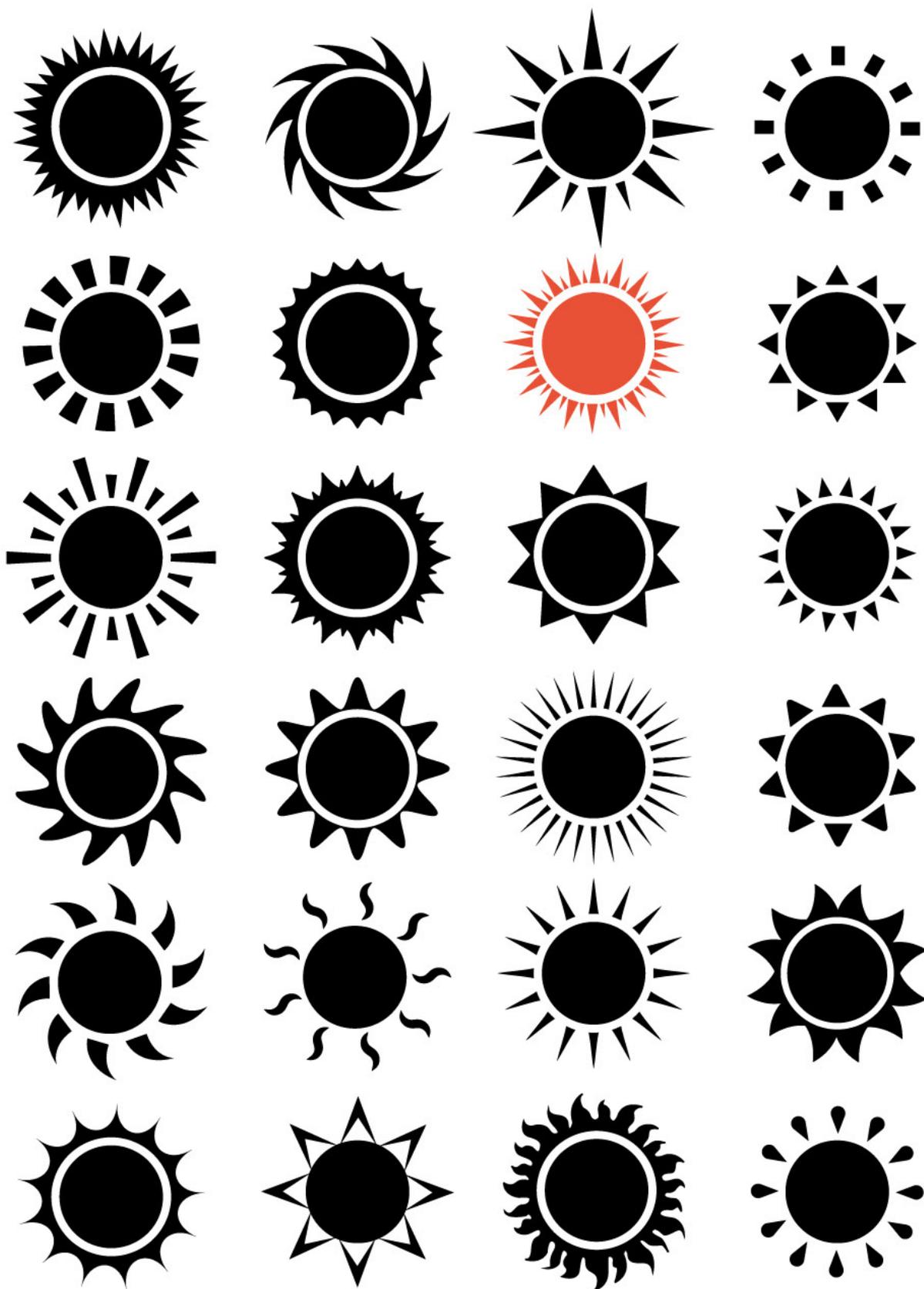


А Н Д Р Е Й А Ш К Е Р О В



СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

КРИТИКА АПОКАЛИПТИЧЕСКОГО РАЗУМА

А л е т е й я

Андрей Ашкеров

**Солнечный удар. Критика
апокалиптического разума**

«Алетейя»

2021

УДК 1:316
ББК 87.6

Ашкеров А. Ю.

Солнечный удар. Критика апокалиптического разума /
А. Ю. Ашкеров — «Алетейя», 2021

ISBN 978-5-00165-292-2

COVID-19 вверг человечество в состояние «тестового» апокалипсиса, неотличимого от цифровой фазы войны всех против всех. Сначала казалось, что все это является способом спасти глобальный мир, специально поместив его в декорации фильма-катастрофы. Потом возникло впечатление, что поддержание статус-кво обернулось большими трансформациями, чем его нарушение. Речь не столько о коллапсе перегруженной инфраструктуры, сколько об эпистемологическом кризисе: налицо резкое падение авторитета научного знания. Мировой локдаун сделал очевидной зависимость естественных наук от политической повестки. После появления движения BLM все тот же локдаун высветил роль гуманитарных наук в сворачивании представительской демократии. Попутно стала очевидна дисциплинарно-принудительная роль современного комфортного государства, соединившего боевую мобилизацию гражданского населения с милитаризацией медицинской власти. Неожиданные смерти на фоне пандемии еще больше зародили сомнения в том, что «тестовый» апокалипсис может скрывать за собой нечто другое, более опасное. Критика апокалиптического разума, которой посвящена книга известного философа Андрея Ашкерова, раскрывает истоки нынешнего кризиса, устанавливает критерии нового синтеза наук и отвечает на вопрос о том, почему дары Солнца, символизирующего ясность и истину, бывают весьма опасны для конкретного человека. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 1:316
ББК 87.6

ISBN 978-5-00165-292-2

© Ашкеров А. Ю., 2021

© Алтейя, 2021

Содержание

Предисловие	7
Введение	14
Глава I. Вирус и жертвы	22
Апокалипсис как ярмарка тщеславия	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Андрей Ашкерov
Солнечный удар. Критика
апокалиптического разума

© А. Ю. Ашкерov, 2021

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

* * *

Предисловие

Вдовствующая императрица Цыси в разгар восстания тайпинов задумчиво и усердно занималась дрессировкой попугая. Пока попугай учил команды, восстание слабело, чахло и наконец иссякло совсем. В итоге у императрицы Цыси был дрессированный попугай, но больше не было восстания.

Пу И. «История второй половины моей жизни»

Один из самых сильных детских страхов у меня – картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Чего я боялся? Нет, не черного неба с молниями. Не падающих с фронтонов статуй. Не потерявшихся членов семей. Не заблудившихся стариков. Не оплакивающих себя женщин. Не испугавшихся собственного крика мужчин (от картины исходит мучительный гул). Даже раздавленная плоть, маячившая где-то позади слишком классицистской для нее картины, – и та не пугала меня.

Меня пугало изображение пожилой матери, у которой больше нет сил идти и которая просит сына оставить ее, двигаться дальше самому. Парафразом этого сюжета было изображение беспомощного младенца, лежащего около мертвой матери, которую, вместе с ним, вот-вот раздавят подводы со скарбом. Изображение было полной противоположностью обычной иконографии «Пьеты», распространившейся в послевоенных мемориалах павшим солдатам. «Пьета» олицетворяла образ Великой матери, женского аватара Хроноса-Сатурна, которая одновременно душила ребенка в объятиях и оплакивала его.

У Брюллова в двойном изображении матери с ребенком происходило обратное действие. Великая мать в ипостаси старухи как будто отпускала повзрослевшее дитя, чтобы потом, умерев или заснув, вернуться к ипостаси юной девы, лишив обратившегося в младенца сына шансов выжить. В этом лишении шансов на выживание обнаруживалась своя логика: в обычной ситуации дева могла быть только бездетна, бездетностью подтверждалась ее безгрешность. Обладание ребенком для девы возможно только через союз с божественным отцом. Однако и наличие божественного отца не гарантирует ребенка от смерти, а только откладывает ее на неопределенный срок. При этом потерявший мать ребенок может найти ее уже взрослым.

Таков инцестуальный мотив историй про спящую красавицу, включая миф об *Амуре и Психее*. Боги-сыновья шли путем Эдипа, но, в отличие от Эдипа, не проходили его до конца. Воскресение или какие-то другие трансформации то ли заменяло им инцест, то ли было его «иносказанием», а значит, и вариантом.

Ребенком я разрывался между младенцем, оставшимся у тела матери, которое вот-вот раздавят повозки с поклажей, и юношей, которого мать уговаривала не тащить ее за собой из гибнущего города. Наверное, спасительным выбором для юноши было бы подхватить младенца. Однако и это спасение было иллюзией. Отождествившись со своим младенческим Я, юноша обнаруживал бы не недостающее звено из прошлого и/или будущего, а изначально мертвую мать. Обратной стороной всего этого могло стать понимание, что живой мать является только тогда, когда ее любовь к сыну неотличима от плача по нему или как минимум от постоянной готовности его оплакать. К тому же в выжившем младенце угадывался не столько сам юноша, в состоянии, к которому он вернется на фоне умершей матери, а исчезнувший отец.

Применительно к младенцу нельзя до конца быть уверенным, ты это или твой отец, только что еще вернувшийся в виде бывшего зародыша. Рассмотрение этой коллизии изнутри мифологического контекста ровным счетом ничего не меняет. Божественный отец также неотличим от божественного сына, как обычный отец неотличим от своего сына в младенчестве.

Вполне возможно, тайна божественности именно в этом отождествлении, в невозможности превратить сына и отца в отдельные величины, рассмотреть их вне целостности участия в акте трансляции души. Способ рождения при этом отходит на задний план, оказывается мало-значительным эпизодом. Параллельно в досужую схоластику превращаются споры о привилегиях рождения через семя или альтернативные семени субстраты вроде света (хотя сравнение семени с огненными существами, петухом, змеем, драконом в древних космогониях показывает, что семя в мифопоэтике предстает чем-то вроде приобретшего плоть луча).

Раздваиваясь между образами юноши и младенца, я примеривал эту ситуацию к себе, хотя мать была молода, вокруг нас было полно родни и небо не собиралось падать на землю. Возможно, это было переживание родовой травмы, окрашенной в кровавые тона «гибели Помпеи», возможно, Брюллов зашифровал в сюжете что-то, имеющее отношение к закату орант, богородиц, и я ощущал этот закат как личную трагедию.

Скорее всего, как нередко бывает, верны оба варианта ответа, а сюжет запечатлелся у меня в зрачке (или был в нем всегда?). Наверное, по этой причине боковым зрением я всегда видел на полях мира брюлловское светопредставление. Прошло несколько десятилетий, случился вирус, переносчиком которого больше являются не люди, а медиа. Мать стара, я по-прежнему больше не младенец, но, к счастью, она не просит меня ее оставить. Даже наоборот. Не все детские страхи сбываются, и уже в этом урок, который способен преподнести нам переживаемый апокалипсис.

В эпоху, когда повышение скорости происходящего привело к тому, что несколько эпох сменяется на протяжении одного года, все стало слишком судьбоносным. Кажется, что апокалипсисы случаются с завидным постоянством, тоже гоняясь друг за другом, чтобы не отстать от времени. Это звучит абсурдно, потому что изначально само понятие апокалипсиса связано с эффектом прецессии, проходящим полный свой цикл за 25 765 лет.

Прецессия представляет собой смещение оси Земли относительно звезд. Однако подобное смещение само укладывается в цикл, стоящий над другими циклами. Этот цикл связан со сменой астрономических эпох. Предполагается, что, управляя любыми трансформациями, он сам оказывается за пределами их власти. Полный круговорот следующих друг за другом эпохальных секторов и называется словом «апокалипсис».

Понятый таким образом, апокалипсис не может нечто опередить или от чего-то отстать. Он сам и есть время, только особым образом понятое. Неотличимое от вечности, оно полностью отождествило изменения с неизменностью. Существует ли оно на самом деле, вопрос отдельный. Однако суэта вокруг слишком зачастивших апокалипсисов открывает возможность для вопроса. Это вопрос о том, не подчиняется ли, в свою очередь, метацикл смены астроэпох каким-то своим изменениям, которые служат звездным аналогом прецессионного смещения земной оси?

Как бы то ни было, околоапокалиптическая суэта стирает границы апокалиптических состояний, спутывает их критерии, дискредитирует приметы происходящего. Впрочем, при внимательном рассмотрении подобная путаница сама может служить подсказкой.

Период, когда отчетливо наблюдалось нечто подобное, может рассматриваться как ближайшая к нам граница предыдущего апокалипсиса. Такой границей, мне кажется, является 1984 год. Он не зря был прославлен Джорджем Оруэллом в знаменитой антиутопии, которая не сбылась, но в результате стала самым докучным из самоописаний общества XX века. Попутно Оруэллу удалось подвергнуть выбраковке целый ряд некогда казавшихся незыблемыми перспектив развития. (Вряд ли им удастся сохраниться даже в качестве «компонент» неопределенности, интересующих Лумана и Мейясу.) Главной из них оказался коммунизм, промежуточной остановкой на пути к которому считались общества «реального социализма».

Хотя все они в тот год, казалось, были еще далеки от кризиса, произошло нечто такое, что превратило их в «уходящую натуру». Лишившись будущего, настоящее само становится

косным и постылым прошлым. 1984-й оказался последним годом послевоенного миропорядка, последним годом доперестроечного СССР, последним годом до окончательного перехода воевавшего поколения из категории «отцов» в категорию «дедов». Добавим к этому, что 1984-й стал последним годом без глобальных медиа, без персональных компьютеров, без вируса ВИЧ и спекуляций по его поводу.

В 1984-м умер философ Мишель Фуко, который сделался первой, если не считать исполнителя Клауса Номе, в числе богатых и знаменитых жертв СПИДа. С этой точки зрения антиутопия вошла в репертуар повседневных практик, стала не только частью, но условием социального порядка в его самом обыденном нормативистском понимании. Антураж антиутопии-2020 с людьми в масках и перчатках, повсеместными сиренами медицинских машин, регулярной статистикой смертей, как на полях сражений, а также общей атмосферой начавшейся «войны миров», возник не в 2020 году. Его генеральной репетицией был 1984 год.

С этого года началось многое, но главное, что в 1984-м антиутопия сделалась условием восприятия происходящего. Точнее, произошло превращение антиутопии из карты, которая разыгрывалась на уровне «международных отношений», в карту, разыгрывающуюся на уровне внутренней жизни в любых ее пониманиях – от индивидуального до «национального».

В резонанс с этим превращением как нельзя более точно входило кино. Вышедший в западный прокат в 1984-м фильм «Кошмар на улице Вязов» У. Крейвена отобразил повседневную феноменологию, основанную на стремлении увидеть в ближнем зомби, живого мертвеца. При этом в роли зомби оказался довольно немолодой, но сверхживучий человек Фредди Крюгер, предметом охоты которого выступают подростки. Правда, Крюгер изначально всего лишь является им во снах, выступая не столько мнимым или реальным врагом, сколько объективацией желания молодых разделаться с зажившимися на свете предшественниками, «предками».

В Советском Союзе воплощением антиутопии, ставшей способом все еще коммунальной на тот момент перцепции масс, послужил фильм Г. Данелия «Кин-Дза-Дза». В каком-то смысле Данелия тоже взялся за тему живых мертвецов, однако раскрыл ее не в пример более тонко. К живым мертвецам относятся не ординарные зомби, а посланцы абсурдных миров, местонахождение которых оказывается куда более близким, чем кажется. Что может быть банальнее похода за спичками? Стоит, однако, сделать единственный неверный шаг, и этот поход обернется межгалактическим путешествием туда, где спички служат источниками энергии для перелетов в разных измерениях и ценятся не в пример дороже золота.

Самой сложной задачей при этом оказывается даже не возвращение на Землю, а сохранение человекосоразмерности внутри самого человека, столкнувшегося с целыми популяциями гуманоидов, внутри которых нет ничего человеческого даже по меркам отъявленной земной бесчеловечности. Пройдет пара лет, и эти гуманоиды, уже без всяких научно-фантастических ухищрений, буквально начнут встречаться среди людей, удивляя разнообразием человеческой природы в фильмах советского нуара. Но уже тогда, в 1984-м, условием перцепции сделалась не одна, а несколько антиутопий. Я был относительно небольшим мальчиком, девяти лет от роду. Ни про Фуко, ни про СПИД я тогда, конечно, не знал. Зато я хорошо ловил то, что можно назвать климатом времени, и он на удивление похож на сегодняшний.

Июнь был холодным, но почему-то мы сидели на даче с матерью с самого начала месяца. На временном расстоянии это выглядит как репетиция нынешнего карантина, да и вообще наступивших новых времен, тем более что из близких родственников, которых в 1984-м была полна коробочка, осталась только мать. Так вот, отчуждение природы, которое вновь обозначилось два или три года назад, хорошо ощущалось и тогда. Видимо, оно приходит волнами. Но в 1984-м над Россией вообще пронесся смерч, невиданное явление, о котором потом стали писать литераторы и снимать фильмы кинематографисты.

В городах этот смерч приняли за «свежий ветер перемен», о котором в том же году спела кинематографическая Мэри Поппинс. Это тоже было показательно. Между тем Горбачев, еще

не будучи генсеком, уже съездил на поклон к другой англичанке – Маргарет Тэтчер, хронику визита показали по телевизору. Англичанка высокопарно заигрывала с ним, как с деревенским дурачком. То есть «погода» времени, этот предмет хронологической метеорологии, была чем-то очень похожа на сегодняшнюю. Хотя многого я еще не знал. Не знал, например, того, что происходило падение нефтяного рынка, и опять, как и сегодня, с участием ОПЕК. Не знал, как я уже сказал, про СПИД, про Фуко, а Фуко, как известно от его биографов, умирал в том же июне от какого-то легочного или бронхиального заболевания. Очень похожего по симптомам на то, от чего умирают сегодня жертвы COVID-19.

По юности, отчасти под влиянием Германа Гессе, я считал себя агностиком. Мир представлялся мне завесой над тайной, плотным одеялом, которым тайна была укутана как кастрюля с гречневой кашей. При этом само одеяло можно было изучать сколько угодно: хоть сшить, хоть распороть. Всем подобным практикам соответствовало эмпирическое знание во вполне сциентистском его смысле. Чем больше можно было овладеть эмпирическим знанием, тем крепче и лучше оно удерживало некую тайну, границей которой и служило. Дальше меня заинтересовали системы знаний, а потом системы вообще, образ которых возник из перекрестного чтения Клода Леви-Стросса и Германа Гессе. Оба автора всего лишь воспроизвели сходное понимание мифа о структуре. Но если не обращать на это внимания, их общий миф казался ключом к практически безбрежному полю интерпретаций, увенчанных строгим методом. К. Г. Юнг и М. Элиаде тогда меня почти не интересовали. Прямой диалог с архетипами или сюжетами, которые говорят сами за себя, казался мне смешным из-за самозванства медиумов, которые брались этот диалог вести. Период гностицизма наступил незаметно, ибо структуры, обозначившие твердое дно эмпирического познания, сами предстали тем, что имеет субъектность. Субъектность, которая на поверку всегда оказывалась политической, потребовала поворота к гностицизму. У субъектов, в отличие от фактов, не было дна в виде структур. Они сами были структурами, которые показывали себя только частично. При этом они не вывешивали завесу тайны, как делали факты, а осуществляли превращения. То, что можно было отнести в них к явлениям, не обязательно при другом ракурсе оборачивалось сущностями. Однако вопрос, почему явления все время расширяются, соревнуясь друг с другом в возможности себя продемонстрировать, так и оставался открытым.

Объяснения через несокрытость во вкусе Мартина Хайдеггера меня вполне устраивали. Однако несокрытость представлялась мне просто синонимом этого соревнования, а не причиной его и не определением того, почему оно вообще стало возможным. При этом гностицизм воспроизвел противопоставление сущности и явления в противостоянии ложного и истинного Бога, настоящего Творца и Иалдобаофа. Творец был отправлен в отставку, Иалдобаоф же царил, простирая свою длань повсюду. Его триумф был окрашен в гносеологические цвета. Однако не было той гносеологии, которая объяснила бы, почему это стало возможно. Вместо этого повсюду распространилась гносеология, называющая себя «метафизикой». Она не объединяла в одно целое явления и иллюзии, феномены и «кажимости».

Подобный ход всегда мне казался поражением, причем не только гносеологическим, но и моральным. Оно обесценивало не только статус эмпирических знаний, не только статус структур, но и статус субъектов. Все они превращались в марионетки Иалдобаофа. Отсюда один шаг до того, чтобы признать, что с «волками жить, по-волчьи выть». То есть жить нужно, служа Иалдобаофу, по сути, только прикидываясь, что живешь, ибо иначе «Иалдобаоф негодует»¹. Только значительно позже я сформулировал для себя, почему я сразу обратил внимание на эту ловушку гностицизма и не захотел в нее попадаться. Дело в том, что гностицизм, уча рас-

¹ Именно на этом остановился, в частности, покойный Константин Крылов, для которого победа над Иалдобаофом была равносильна победе над Солнцем и откладывалась до лучших времен и лучших миров.

познавать присутствие ложного творца в мире, делает непознаваемым истинного творца, а то, что не может быть познано, то и не существует. Во всяком случае, не существует для нас.

Параллельно, внушая мысль о неизбежности Иалдобаофа, гностицизм превращает этого придуманного им «мудрого Гудвина» в универсальную инстанцию наблюдения, наблюдающую за всеми, кто принимает во внимание неоспоримость его существования. Попросту говоря, допустить ситуацию существования Иалдобаофа можно только одним способом: связав с ним наличие некоего наблюдательного пункта, в котором, возможно, присутствует кто-то (возможно, и нет), кто наблюдает тебя постоянно или время от времени.

При этом сам наблюдатель недоступен для наблюдения, но воплощает саму его возможность, мир иллюзий-явлений. Вся конструкция больше всего напоминает Паноптикум Бен-тама-Фуко. Однако этот Паноптикум является уже не тюрьмой народов, а тюрьмой всего мира, которая, правда, не только поработывает, но обеспечивает мир известным набором онтологических характеристик. Паноптикум Иалдобаофа корректирует известный тезис Лумана, по которому не бывает систем наблюдения за обществом, отличных от общества.

Оказывается, если наблюдатель наделен спорным онтологическим статусом, больше делает вид, что существует, чем существует, и вообще ни жив ни мертв, вопрос его принадлежности к обществу отпадает сам собой. То же самое относится и к наблюдению таких смутных наблюдателей за всем миром. Новейший атеизм имеет некоторые основания связать с такими наблюдателями всех богов. Новейшая религиозность противопоставляет этому представление о том, что настоящие боги еще не пришли, а творец опоздал к созданию своего творения, за которое мы приняли заготовку.

Увы, на поверку статус этого неповоротливого творца из фантазий Квентина Мейясу не отличается от статуса микроба из лаборатории Пастера, описанного Бруно Латуром. Оба выступают некими сверхминиатюрными условиями порождения инфраструктуры, оба являются факторами бытия, отличающимися от других факторов только тем, что их, как казалось, без ущерба для результата многие тысячелетия выносили за скобки «основополагающих» процессов.

Однако в самом плачевном положении находится не инфраструктура с бытием, а истинный творец, оказывающийся, подобно Урану, Хроносу и другим свергнутому с пьедестала богам, пленником вечно вчерашнего². Парадоксально, но связать бытие и инфраструктуру, вечно вчерашнего бога и бога, опоздавшего к творению, микробов и Иалдобаофа удалось только вирусу под названием «COVID-19-SARS». Это означает, что не только постгностицизм, но и философия с примкнувшим к ней обществознанием рано или поздно должны превратиться в область всеобщей вирусологии всего.

Вирус не был поводом для тревоги. Скорее он был способом ее измерить, а также «звонком», тревожным зуммером, с помощью которого эта тревога была объявлена. Случилось так, что эта полуучебная тревога перевела планету в экстренный режим. Тем самым вирус с сомнительным онтологическим статусом приобрел неоспоримую политическую субъектность. Потеснив гегемонов, он стал главным сувереном миропорядка. И даже если другие суверены

² От распределения ролей в божественной паре зависит, какой творец будет признан истинным, а какой – ложным (положение обоих является предметом противоборства). Более жестким вариантом этого процесса является скандинавский «Рагнарек» (от древнескандинавского слова *Ragnarök*, в котором *ragna* является родительным падежом от слова «владыки», а *rök* – судьба, рок). Волк Фенрир в день Рагнарека освободится от своих пут, его сын Сколь (*Sköll* – «предатель») проглотит Солнце, а его брат Хати (*Hati* – «ненавистник») – схватит месяц. Из глубин выплывет мировой змей Ермунганд, к которому из подземного царства присоединится Хель, оттуда же, из Хельхейма, приплывет корабль мертвецов Нагльфар. Стоящая во главе мира близнечная пара Один и Локи разделится, положив конец тому устройству жизни, в котором уравновешены порядок и иллюзии, правда и кривда, образцы и пародии. Как считается, Локи встанет на сторону восставших сил хаоса. Однако больше это разделение похоже на противоборство живого прошлого с «зернами» будущего. По сути, перед нами альтернативный вариант того, что в «иудеохристианстве» описывается как «воскресение из мертвых». При этом сравнении фронтир пролегает уже не между «зародышами» и «зомби», а между силами, которые делают ставку на апофатику грядущего, и силами, которые узнают в этой апофатике «хорошо забытое старое».

миропорядка, в ожидании неизвестных нам ударов, прикрылись вирусом, новый вирус для них больше, чем оболочка. Во всяком случае, речь идет о такой оболочке, которая сама способна стать «образом и подобием» для тех, кто ее использует.

При этом настал момент, когда в России и далее везде стало хорошим тоном ругать население. Какое, мол, оно у нас несознательное, несмышленное, глупое. «Само себе могилу копает». Вместо того чтобы, как было велено, сидеть дома, смеет, о ужас, появляться на улицах, в количестве более двух человек. «Бергамо на вас нет, Ухань на оба ваши дома!» Вирус превратился уже даже не в главного политического субъекта, а в лидера некой общемировой партии, одетой в маски, очки и противомикробные робы.

Эта партия воинственна, вместо транспарантов у нее страх, направо и налево она рассылает поцелуи смерти. Партийные ряды ширятся, заражая страхом, независимо от числа зараженных. Те, кто еще недавно исключал вирус как реальность, вдруг превратились в его добровольных помощников, инструкторов по безопасности, повсюду сеющих черные зерна опасности. Еще пара дней, и, казалось, для сторонников партии вируса могли ввести униформу: костюм чумного доктора из Средних веков, символизирующий вышедшего к людям бога Тота (Гермес у греков, Меркурий у римлян). Напомню: во времена чумы так выглядели доктора, которые не столько лечили жертвы, сколько утилизировали трупы.

Количество плакальщиков по еще не случившимся трупам сегодня растет в геометрической прогрессии. Жены-мироносицы обоюбого пола несут миро и ладан к пустой могиле, в которой еще никого нет. Вопрос выживания – остановить это шествие, обуздать ряды плакальщиков, избежать щедрой жатвы. Впрочем, в целях конспирации плакальщики, скорее всего, обойдутся без излишеств. Зачем обряжаться Тотом, если вы и так в него превращаетесь благодаря скафандру, каким является любой интернет-аватар, любой аккаунт в социальной сети.

Одна из причин того, что люди вновь стали «структурами, которые вышли на улицу», состоит в том, что они хотят сбросить с себя виртуальные робы, неотличимые от статуса марионеток ложного творца, Иалдобаофа. Ношение этих роб стало в какой-то момент неотделимо от интернирования в домашние камеры предварительного заключения. Могут сказать: да, но ведь политическая борьба вируса не отменяет его черную работу, люди ведь умирают, а статистика не врет. Конечно, не отменяет, однако проблема в том, что черная работа и политическая борьба – одно и то же. Черная работа – часть политической борьбы.

С этой точки зрения все попытки выйти на улицу только на первый взгляд отдают инфантильностью. Они отражают стихийное оформление беспартийных, которые сами себе партия, и эта партия каким-то безошибочным чутьем понимает, что борьба с вирусом подталкивает играть по его правилам, становиться добровольным помощником его партии. К слову сказать, в этой роли не захотел фигурировать и президент Путин, который обозначил государственные меры все-таки не как карантин, а как «самоизоляцию». То есть как такой режим, которой не посягает на свободу воли. Можно только благословить тех несознательных, которые, подобно евангельским «нищим духом», вышли на улицы, чтобы попрощаться с довирусной жизнью и встретить во всеоружии жизнь новую, послевирусную.

Вирус создал новое общество, и это общество только на первый взгляд включает заболевших, носителей и потенциальных жертв. В действительности оно включает в себя прежде всего инфраструктуру. Противостояние ей возможно только в форме интериоризации (овнутрения) и удвоения ее на уровне самой экзистенции. Виртуализация вируса имеет значение магической процедуры. Это магия переноса, магия метафоры. Был вирус реальный, стал медийный, информационный, «хайповый». Короче говоря, это та самая магия, которая играет с масштабами, одновременно уменьшает и увеличивает то, с чем имеет дело. Превращает мышей в великанов, а великанов – в мышей. Однако это еще не все.

Виртуализация микроорганизма совершает с ним в масштабе общества то же самое, что совершает пастеризация в масштабе конкретного индивида. Иными словами, превраще-

ние вируса в медиавирус обессиливает его, стерилизует как только можно, попутно снабжая ролью, сценографией и партитурой, которые причитаются ходульным образам злодеев. Жертвам от этого, конечно, ни холодно ни жарко, но социальный эпистемолог открывает любопытные обстоятельства, которые принято не замечать. Суть их в том, что между пастеризацией, виртуализацией и магией переноса («преувеличения»³) существует заметная связь.

По правде говоря, это один и тот же процесс, который просто по-разному понимается. Положение дел описывает поговорка: «И жрец, и жнец, и на дуде игрец». Разницу определяет инфраструктура, показателем развития которой является дифференциация («разделение труда»). Оформляясь как набор специализированных «экспертных» кодов, эта дифференциация не дает распознать, зашифровывает предпосылки, в рамках которых указанный процесс дает о себе знать. Дистанцированный наблюдатель («ученый», «администратор»), включенный наблюдатель («философ», «шаман») и медийщик («говорящее сообщение», функция инфоканалов) встроены в одну систему отношений, знаков и вещей. Однако встроены они в нее таким образом, чтобы не быть в курсе, что эта система одна на всех.

Стороннику «строгого» знания кажется, что он имеет дело только с «настоящими» вещами, гуманитарий думает, что все для него служит знаком, медиадеятель же считает, что чем бы он ни занимался, он организует отношения. Бруно Латур волевым решением предложил прекратить этот известный со времен Канта «спор факультетов». Однако спор закончится только тогда, когда участники поймут, что они альтер эго друг друга. Подобное осознание возможно только на фоне апокалипсисов разной степени сложности. Впрочем, верно и обратное: некая пограничная ситуация не столько раскрывает единство наблюдателей, каждому из которых кажется, что он находится «на своей колокольне», сколько порождается тем обстоятельством, что они открыли свое сходство.

С этой точки зрения эпидемия и аналогичные ей кризисные ситуации нужны только лишь для того, чтобы показать единство жизненных форм, которые обычно воспринимаются разделенными. На первый взгляд может показаться, что в выигрыше опять оказывается инфраструктура. Но это только первое впечатление, ибо инфраструктура может как создать новые разделения, которые соответствуют новым единствам, так и оказаться погребенной непримиримыми к себе единствами, обнаружившими, что их имманентизация равносильна ведению войны любыми средствами.

Как бы то ни было, коронавирусная атака является испытанием для инфраструктуры, потому что ставит перед фактом того, что с этого момента общество интегрирует в себя:

- распространившийся повсюду новый центр (столицу?), возникший в китайской провинции Ухань;
- желтых зараженных китайцев, обернувшихся черными революционными американцами;
- летучих мышей, существующих как лабораторный объект без лаборатории, которая их в него превратила;
- лабораторию, о которой известно только то, что она настолько могущественна, что распространяет в мировом масштабе не обнаруженные в ней биоматериалы;
- новые деликатесы и связанные с ними стандарты потребления, бросившие вызов молекулярной кулинарии в виде кулинарии вирусной;
- иероглиф «бянь фу» («летучая мышь»), который, будучи созвучным иероглифу «фу» («счастье»), довел принуждение к счастливой жизни до уровня вирусной, во всех смыслах слова, рекламы.

³ В том числе в экономическом смысле.

Введение

Состояние современного общества требует радикального пересмотра представлений о его познании. Одной из ключевых для рассмотрения поворотных процессов является метафора «осевого времени», предложенная К. Ясперсом. Автор относил к осевому времени формирование крупнейших религиозных доктрин, этических систем и философских концепций. При этом Ясперс априоризировал осевое время, точнее, полагал, что его априоризировал в ходе дальнейшей своей деятельности сам человеческий род. Как бы то ни было, философ исходил из того, что, однажды сформировав человечество, это время, обезопасив себя от ревизий, стало синонимом вечности.

Увы, парадокс состоит в том, что застывшее осевое время приобретало императивность, но прямо пропорционально утрачивало влияние. Раз состоявшись, оно превратило собственное дело в назидание и утрачивало всякие шансы вернуться. Кризис 20-х годов ХХI века ставит мыслящее сообщество перед дилеммой: либо старое осевое время утратило свою силу, либо оно вернулось, а потому нужно встать вровень с его задачами. Перемена хода времени отразилась в сложной взаимосвязи пандемии коронавируса с новой «великой депрессией» в экономике и климатической аритмией сезонных циклов в природе.

Экономика как теория и практика на протяжении столетий сводила время к хронометражу, к отрезкам и делениям. Тем самым время укрощалось и подвергалось цензуре. Делалось это, чтобы было неповадно рассматривать его как целостность. При ближайшем рассмотрении трудно не заметить в этом осуществление старой олимпийской установки, связанной с тем, чтобы держать Хроноса как можно глубже в Тартаре, на самом его дне. Хронос никогда не должен демонстрироваться целиком, а только по частям, чтобы каждая составляющая выступала в роли боевого трофея.

Даже понятие потока, восходящее к Анри Бергсону и взятое на вооружение Жилем Делезом, было не способом обрести эту целостность, а растянутым мгновением, тем самым, которому Гете вместе со всей культурой модерна приказывал остановиться. Уже сейчас видно, что кризис 2020 года стал небывалым с точки зрения перемены отношения к времени, к будущему. Время уже невозможно предлагать в форме *фьючерса*, ибо этот фьючерс, даже будучи объединен с такими субстанциями земли, как нефть и газ, приобретает отрицательные значения. Отсюда один шаг до того, чтобы отказаться от всей системы, где время – это деньги, то есть побочный продукт применения главного механизма, делящего все и вся. Время становится ключевой темой исследования культуры. При этом культурология современности превращается в метеорологию времени.

Достоянием метеорологии времени оказывается описание трудноуловимых перемен погоды: вихрей, уничтожающих пляжи и биржи, дождей, подмывающих города и устои, солнечных процессов, из-за которых дискредитируются знаменитости и возвеличиваются микробы. Все это делается при минимизации отсылок к моментам, порциям, фрагментам, к анализу эпох и периодов, на котором раньше строились все без исключения жизнеописания времени. Трудно не заметить, что перед нами открывается невероятный шанс для видоизменения всех точек зрения на мир. Другой шанс, на который нельзя не обратить внимания, связан с тем, что экономика, в виде теории или практики, уже не справляется с функциями «метафизики». Такое не снилось не только Марксу, но даже и Ленину.

Важным эпизодом в прежнем укрощении времени, столкнувшемся сегодня с непреодолимыми препятствиями, было отождествление познания с установлением дистанции. Отмерь расстояние, не позволяющее тебе сливаться с твоим объектом, и в качестве бонуса вместо резонанса с ним ты получишь знание о нем.

Пример того, как это делать, подали трагедия, если верить Ницше, зафиксировавшая свою дистанцию от музыки. Потом была философия, которая противопоставила себя мудрости. За ней последовала живопись Кватроченто, в которой применялась линейная перспектива, позволявшая изъять себя из мира, симулируя взгляд абсолютного наблюдателя. Из этого взгляда возникло все то, что стало называться «наукой».

Стоимостное выражение любых вещей, позволившее разотождествиться с их свойствами и функциями, также было вехой в этом процессе, но пришло позже. Возможно, именно теперь, в эпоху, символом которой стало социальное дистанцирование из-за нечеловеческого врага, все перечисленные дистанции сойдут на нет или по крайней мере изменят свой статус.

Каково бы ни было происхождение вирусной атаки, связанной с феноменом COVID-19, она показывает нищету того, что на языке науковедения называется «строгой наукой», а на языке старой метафизики – «умом». По сути, это нищета познания, действующего через противопоставление и отрицание. Чтобы понять, чем вызван нынешний кризис познания, нужно проследить генеалогию самого познания, которая теперь кажется более простой и более неожиданной, нежели раньше.

Эта генеалогия связана с тем, что достигнутая автономия человеческой души сделала ее неотделимой от свободы воли, более того, превратилась в ее двойника. Между элементами сложившейся близнечной пары возникло соревнование, в котором автономия души стала определяться возможностью конвертировать ее в свободу воли, а свобода воли стала измеряться числовыми параметрами этой конвертации, буквальным превращением в стоимость. Попросту говоря, связь души с волей стала определяться возможностью душу продать, превратить ее в капитал (все теории капитала, начиная с Адама Смита, основываются в первую очередь на том, что этот капитал «человеческий»).

Однако что выступает заменой души, когда воля, предельно возвысившись, обращается к тому, что на языке Гегеля можно назвать «самоотрицанием»? Злато-серебро, знатное происхождение или, к примеру, властное превосходство могут, конечно, участвовать в этом акте обмена. Однако целиком они его определять не могут. Почему? Да потому что не являются заменой души даже на самом суррогатном уровне. Душу, конечно, можно заменить пустотой, зиянием, свищом. Формой всего этого служит признание ее отсутствия. С какой-то точки зрения такое решение может показаться наиболее элегантным. Увы, существует природа, которая не только терпит, но и всячески поощряет пустоту. И все же обмен, хотя бы в рамках симуляции, предполагает «что-то еще».

И тут опять не обойтись без коронавируса. На сей раз он нужен ради аналогии. Что известно про побочный эффект действия вируса? Правильно, известно то, что, воздействуя на легкие, он вызывает образование в них рубцовой ткани. Иными словами, речь идет о все той же замене, только на уровне тела. Одна ткань меняется на другую. Так и с душой. Сдача ее в наем, передача на аутсорсинг или делегирование во «внешнее управление» означает внедрение чего-то на ее место. Нужен какой-то имплант. И имплантируют, скорее всего, то, что под именем *ума* отвечает за способность сознания функционировать через противопоставление и отрицание.

Вполне возможно, с этой точки зрения то, что мы называем «наукой», выступает результатом коллективной продажи души, передачей прав на нее кому-то всерьез и надолго. Довольно легко связать это с Новым временем, особенно с поздним Просвещением XVIII века, но исток искать нужно раньше. К примеру, у Аристотеля, который не зря считается отцом большинства современных наук. Добавим к этому, что со времен Аристотеля представление о душе было так или иначе связано с коммуникацией, то есть с тем, что человек делает, а не с тем, что он собой представляет, на уровне чего душа представляла самым потаенным и самым незаменимым из органов.

До Аристотеля душу невозможно было продать, потому что она не принадлежала человеку, а само человеческое существо было чем-то вроде колонии наростов на некоем душевном устройстве. После Аристотеля душа уже в общении, а также в общнике (общиннике), общих местах и общем мнении. При этом, как все знают, само общение оказывается тем, что определяет человека. Иными словами, человеку уже есть что продать, и, продавая душу, он уже продает свое определение.

Однако здесь есть тонкий момент. Продается то, что может быть куплено, приобретено. Исходя из этого, общение может быть не тем определением человека, продажа которого равносильна продаже души, а тем, что получено в результате продажи. Но как можно продать то, чего нет? А очень просто: продажу можно осуществить, сделав предварительный заем. Занять у себя самого же, себя, каким ты будешь или, по крайней мере, каким можешь стать через определенное время.

Акт этого займа связан с идеей спасения. Если спасение нельзя купить, можно сделать его земным, посюсторонним аналогом капитала. Капитал не отчуждает человеческий труд, а превращает труд в предоставляемый человеку залог его существования. Маркс мог бы перефразировать Декарта, сказав: «Тружусь, следовательно, существую». При этом намного раньше Маркса заложником труда человека сделало грехопадение.

Мифическая (псевдомифическая?) сцена грехопадения показывает нам на реальные обстоятельства. Существование, по сути, равнозначно спасению или, по крайней мере, видам на него, какими они открываются из «грешного» постэдемского мира. При этом ни спасение, ни существование не являются тем, что гарантировано человеку как непонятный, но гарантированный для него оплот будущей жизни. Трудясь, человек производит то, что по вкусу называется «существованием» или «экзистенцией». Но производит не в качестве закономерного результата своей деятельности, а в качестве сопутствующего обстоятельства, которого нельзя ни интегрировать, ни отвергнуть.

Являясь устройством, которое концентрирует «противоречия» гегельянцев и «борьбу» марксистов, ум удерживает не подлежащие его юрисдикции стороны существования, все то, что сопротивляется возможности его принять или не принять окончательно. Тем не менее, как бы ни исхитрялся в этом деле ум, с определенной точки зрения – и совсем не по решению марксистов – он выступает всего лишь ментальным протоколом труда.

Кризис трудового общества провозглашался с самого момента превращения его в предмет анализа. Начиная с кризисов недопроизводства и заканчивая кризисом стирания различий между человеком и киборгом труд бросал вызов судьбе в смысле способности порождать критические обстоятельства. То же самое происходило и с умом, который не просто испытывал постоянные, периодические и эпизодические кризисы, но с самого начала сделал кризис способом своего действия.

Поскольку «кризис» означает «суд», в этом проявляется готовность ума включить в себя различные вариации загробного суда, присутствующие в подавляющем большинстве религиозных систем. Однако ни мировые войны, ни эпидемии, ни революции не стали тем апофеозом объединенного кризиса ума и труда, который можно наблюдать с начала эры сетевого общества и особенно с даты наступления всемирного карантина рубежа 10–20-х годов XXI века.

Сетевое общество стерло границы между умом и трудом под знаком превращения отложенного существования/спасения во всепоглощающее имманентное заэкранье виртуального мира, за которым маячила «сеть» как невиданное прежде единство вещей, знаков и отношений. Всемирный карантин дополнил дело тем, что «дополненная» или «прибавочная» виртуальная реальность, висевшая как довесок той реальности, которая никогда не наступит, раскрыла то, что и так было ясно про нее с самого начала.

Перестав казаться инструментом расширения сознания/освобождения труда, виртуальность стала местом принудительного интернирования со всеми атрибутами репрессивно-дис-

циплинарного воздействия. Превратившись в актуальный эквивалент светлого будущего, приблизив его на минимальное расстояние толщиной в экран, виртуальная жизнь полностью избавила человечество от исторических альтернатив, которые исключали бы ее вечное царство.

Пандемия сделала территорию виртуальной жизни «землей обетованной», однако стерла все грани, отделявшие ее от самой известной древней тюрьмы – пустыни. Теперь пустыня уютно расположилась в домашнем пространстве. Параллельно, как это уже бывало в рамках генеральных репетиций ситуации-2020, произошел обвал рынка углеводов.

Невиданное затоваривание нефтью, падение цен на нее и, как следствие, сокращение добычи черного золота имели отношение не столько к состоянию сырьевой экономики, сколько к спекуляциям на рынке объективностей. В мире, организованном вокруг двигателя внутреннего сгорания, вещи сводятся к стоимостям, а стоимости сводятся к углеводородам, заменяющим субстанцию в мире, где не осталось места для субстанций. В свою очередь, рынок объективностей управляет системами объективации, с которыми соотносятся «объективные» факты, закономерности и детерминации.

Поэтому если мы и наблюдаем сегодня какое-то банкротство, то это не банкротство нефтяного рынка, а банкротство строгой науки, форпостами которой были статистика, генетика, микробиология, медицинская физиология и экономическая теория. Все они удерживали объекты в только им подобающих границах. Все они сводили объекты к разрывам, полостям и зияниям. Обращает на себя внимание, что отцом практически всех перечисленных наук считается Аристотель.

Аристотель же является и тем, кто за две с половиной тысячи лет до Ясперса предложил свою версию осевого времени. Правда, известна она главным образом по пересказам несохранившейся работы «О философии», в которой философ из Стагир утверждает, что человеческий род неоднократно погибал во всех вселенских катастрофах⁴, последней из которых был Девкалионов потоп, в результате которого сын Прометея Девкалион стал новым родоначальником человеческого рода.

По мысли Аристотеля, как бы ни отличались друг от друга поколения человечества, общество, в котором организуется их совместное бытие (греки одним словом называли его «синойкизм»), всегда проходит одинаковые стадии развития. Первой из них соответствует изготовление орудий, второй – создание художественных творений, наконец, третьей – продуцирование самой полисной жизни, которая, как видно, возникает из единства производства и искусства⁵. Вместе с полисом на третьей стадии неизбежно возникает и «мудрость». Появление ее и есть эквивалент осевого времени, которое повторяется ровно столько, сколько возрождается человеческий род.

Таким образом, Аристотелево осевое время объединяет уже не столько страны и народы, сколько поколения человечества, которые, несмотря на чудовищные катаклизмы, не просто воскресают, подобно богам разнообразных циклов, но воссоздаются с некой недоступной для человека точностью, как скульптура, отливаемая по невидимой матрице. Тема смены поколений человечества не является оригинальной. Аристотель заимствует ее из фольклора и его

⁴ См. об этом: *Вернан Ж.-П.* Происхождение древнегреческой мысли. М.: Прогресс, 1988. С. 89.

⁵ Делез и Гваттари противопоставляют стадильности, неизбежно ведущей к древовидной генеалогии, корням и стволам, травянистую («ризоматическую») историю. Эта история, избегая дуальностей, является историей, в которой «ни один третий не лишний». По мнению авторов «Капитализма и шизофрении», растущая как трава история пробивается посередине и между вещей, спутывает генеалогию, как будто бы генеалогия держится на причинности, которая ведает соподчинением вещественных форм. Отправляясь, вслед за Генри Миллером, на поиски травяной модели истории в Китай, Делез и Гваттари вскоре разочаровываются в этом, соблазняясь более «ризоматической» Америкой. В итоге они все равно обращаются к становлению как *производству бытия*, то есть ко все тем же грекам, к полисной жизни и к Аристотелю как наиболее последовательному ее выразителю (это хорошо видно по поздней работе Делеза «Что такое философия»). При этом достаточно очевидно, что Аристотель пестует не «ризому», а «исток». Поэтому походы за сорными травами истории оборачиваются обычной «прогулкой лесом», среди все тех же стволов и корней.

переложений у Гесиода (и, возможно, каких-либо других авторов). Однако обращает на себя внимание то, что трагизм смены поколений только подчеркивает неукоснительность воссоздания. Иногда возникает ощущение, что катастрофы и нужны только для того, чтобы довести до совершенства сам процесс матричной отливки нового человечества.

Параллельно вполне может тестироваться способность эйдосов к воплощению, понимаются ли эти эйдосы по все тому же Аристотелю или, по старинке, в стиле представлений Платона. Не исключено также, что Аристотелевы эйдосы отличаются от Платоновых эйдосов большей фертильностью в отношении одушевленного физического присутствия. При этом последняя катастрофа неслучайно связана именно с потопом. В потопном происхождении последнего известного грекам мира есть связь с водным эксцессом рождения мира и человечества в Книге Бытия, а также с драматическими приключениями Ноя, выступающего библейским побратимом Девкалиона.

То, что потопный эпос управляет отсчетом времени, неизменно деля время на «до» и «после», указывает на то, что водные катаклизмы неотделимы от драм летоисчисления, а вместе с ними – от всего находящегося в ведении *Хроноса-Сатурна*⁶. Однако не в меньшей степени водная этиология вселенских несчастий соотносит нас с морскими богами.

Бог Книги Бытия не просто сотворяет мир, но сражается с олицетворяющим первозданный водный хаос *Левиафаном* (подобно тому как его шумеро-аккадский двойник Мардук ведет битву с влажной богиней беспредела *Тиамат*). Такое же сражение с водным хаосом ведут Ной и Девкалион, при этом вода не столько отступает, сколько, приобретая большую степень организации, воплощается в новых жизненных формах. Если добавить к этому то, что в астрофологии не только водная стихия, но и микробы, в том числе вирусы, соотносятся с планетой Нептун, возникают неожиданные параллели. Эйдосы приближаются к своим подобиям, повышая возможности воплощения, воды выходят из берегов, осуществляя стабилизацию циклов, катаклизмы случаются, видоизменяя русло потоков времени.

Аристотелем, а до него Пифагором (вместе с их неизвестными учителями) двигало стремление найти общую структуру этих вселенских происшествий. Осевое время может рассматриваться как достижение такой структуры сознания/самосознания. Речь уже не о «мудрости» самой по себе, а о том, что «мудрость» представляет собой выражение сопричастности такому типу связей, который превращает горние и дольные дела в область совместного ведения. На этом фоне осуществляется настолько радикальная имманентизация этих дел, что любая отсылка к трансцендентному, начавшаяся с римского понятия провидения, выглядит *капитуляцией перед собственной и вообще любой судьбой*, в виде которой трансцендентное изначально и навсегда дано как проявление тебя самого, включая твой характер, привычки и «внешность» (в совокупности описываемые на языке современной социологии словом «габитус»⁷).

Если переворачивать известное высказывание Макса Мюллера о том, что в метафорах скрываются мифы, можно сказать, что и мифы, в свою очередь, являются не чем иным, как метафорами, которые имеют самые буквальные указания на настолько масштабные, неожиданные и далеко идущие связи, что они просто не охватываются другим способом.

⁶ Согласно восходящей к древним грекам традиции, территория России метафорически обозначается как скованное льдами царство Хроноса. По сути, это и есть место его заточения, поднятый из глубин Тартар, по виду которого сложно догадаться, что когда-то здесь разворачивалась патронируемая Хроносом пастораль «золотого века». Соответственно, то, что можно назвать способом действия Сатурна, курирующего нашу не очень-то спасаемую другими богами Родину, связано с распространением его положительного влияния через разнообразных живых старцев. От «святых отцов» по примеру Иоанна Крестянкина до «деятелей культуры» по примеру Лимонова. Когда старцы умирают и на их месте никого не оказывается, доброжелательный Сатурн, скорее всего, уступает место Сатурну ограничивающему, карающему, злому.

⁷ См. об этом: *Бурдые П.* Социология социального пространства. СПб.: Алетей, 2005.

С этой точки зрения «деления», к которым прибегает Аристотель вслед за Пифагором⁸, не просто выступают выражением числовой модели мира. Следует говорить о «делении» как об изводе числа как гибрида воды и времени, который, в свою очередь, соответствует попытке порционного рассмотрения единства эйдосов и подобий, вод и циклов, времени и катаклизмов. Превращая число в тему для многотысячелетнего повествования-мифоса, Аристотель окончательно освободил его от статуса метафоры, каковым оно, возможно, обладало с самого начала.

Но если это понятие было метафорой, то метафорой чего? Не идет ли речь о генетических мутациях, воспринимаемых как сближение эйдосов с подобиями? Не выражают ли воды, своим выходом из берегов стабилизирующие исторические циклы, отбраковку целых поколений наследников определенного генома? И не означают ли потоки времени, изменяющие свое русло, смену человеческих популяций в результате того, что вирус проникает в кровь, а потом и в плоть, встраиваясь в определенных случаях в человеческую ДНК?

Как бы то ни было, связанные с созвездием Плеяд *богини-пряжи* присутствуют в самых разных культурных ареалах, относящихся не только к грекам, но, например, и к славянам. Деятельность пряж сама по себе образует ткань мифов о судьбе, но, как мы договорились считать, мифы – это не только мифы, но и метафоры, а в данном случае метафоры того, что не столько в метафизическом, сколько в ткаческом смысле образует основу, уток жизни. Иными словами, независимо от того, как мы мифологизируем судьбу, метафора, которая делает возможной эти мифологизации, сама выступает нитью, пронизывающей самые отдаленные связи. Если все, что отворачивается от судьбы, находит ее быстрее, чем если бы искало, то сама судьба находит себя в переходе, в переносе, в смещении. *Иными словами, она находит себя в метафоре.*

Судьба и метафора не связаны одной нитью; они вместе и есть нить, которая связывает. Чем надежнее способ связи, тем больше возможностей для мифа, для сюжета, наконец, для той формы жизни, которая держится на самоописании. На самом буквальном из известных нам уровней связь судьбы и метафоры крепится цепочками ДНК, которые соединяются, тянутся и обрезаются, чтобы поменяться фрагментами, совсем как нити мойр Клото, Лахесис и Атропос. С ДНК соотносится единство связей между нуклеотидами внутри макромолекул с воспроизводственными связями внутри организма и между поколениями его обладателей.

И все же есть большие сомнения в том, что это единство гарантирует нескончаемое возвращение «полиса» и «философии». Точнее, «полисом», который возвращается, в этом случае является сам генетический код как совокупность наследственной информации, по отношению к которой человеческая политика и человеческая мысль всегда находятся в положении жалкого подражателя. При всем сходстве ситуации с антуражем дорогого сердцу филолога античного миметизма стоит отметить, что воплощением бытия-вместе в этом случае будет не сообщество свободных граждан, а колония нуклеотидов.

Отбросив опасения, можно засвидетельствовать: фраза Фридриха Энгельса о том, что жизнь «есть способ существования белковых тел», никогда еще не приобретала такой актуальности. Правда, для окончательного оправдания установок Аристотеля к словосочетанию «способ существования» нужно прибавить слово «политический». Но смел ли надеяться основоположник теории коммуникативной социальности, что, в прямом смысле, заглянет так глубоко?

Добавим к этому, что не только Аристотель, но греки в целом склонны были скорее рассматривать как продолжение полисной жизни не биологические органеллы, а космическое пространство. Во всяком случае, устройство последнего описывается в тех же терминах, что и устройство города-общины. В обоих случаях речь идет о самоорганизующемся порядке, который воплощает целое благодаря элементам, удерживающим друг друга на основе состязательности и противоборства.

⁸ См. на эту тему фундаментальное исследование: Янков В. Истолкование ранней греческой философии. М.: РГГУ, 2011.

Откровенно говоря, в этом случае, увы, возникает еще больший соблазн: перейти от уровня политической организации белковых молекул к уровню космополитарного единства, минуя человеческое сообщество. Впрочем, у подобной перспективы есть и обратная сторона. Не только создававшиеся на коленке технологии, но сама риторика борьбы с COVID-19 показывают, что на вирусы и другие микротела легко переносятся приемы биополитики, хорошо отработанные на людях. Лозунг «Дома надо сидеть!», до этого выражавший идеологию борьбы с уличными протестами, оказался идеей фикс в обосновании карантинных мер против коронавируса, а потом незаметно переключался в область лечебных приемов.

В частности, именно этот лозунг превратился в руководство к действию по предотвращению слишком активной реакции иммунитета на вирус, так называемого *цитокинового шторма*. Как и люди, иммунные клетки не должны были нарушать режим самоизоляции, сдерживать активность и менять способ действия. Обращение биополитики к биологическим микроструктурам явилось не только новым словом медицины, но и новым словом политической философии.

С какой-то точки зрения, подобная ситуация обусловлена скудостью возможностей, приводящей к принципу: «Что работает с людьми, сработает с чем угодно». По сути, в этом плане ничего не поменялось со времен Аристотеля. Его вечное возвращение «полиса» и «мудрости», отражает все то же дефицитное состояние биополитических форм.

Будучи ловушкой для человеческих возможностей, оно по своему образу и подобию порождает аналогичный дефицит средств оперирования другими объектами, одушевленными и неодушевленными. Данный дефицит легко преобразуется в этику и метод разумной достаточности, а главное, позволяет неограниченно расширять человеческие сообщества, интегрируя в них любые нечеловеческие объекты. Подобная интеграция не ограничивается социальным соседством, а предлагает широкий репертуар вживания сразу в индивидуальные и коллективные тела.

При этом биополитика является не только способом усмирения вируса через его включение в человеческие тела и сообщества, но и встречным движением самого вируса. Проще говоря, в его присосках заключена невероятная власть, а потому все его проявления волей или неволей оказываются биополитическими.

Итак, благодаря вирусу весь мир оказался интернированным по местам компактного проживания. Границы оказались закрыты, перемещения ограничены, большинство форм активности, от спортивной до политической, заморожено. Сервисы удобного государства в одночасье раскрыли свои полицейские функции. Остается только молчать про права человека, о которых в одночасье забыли все, но в первую очередь – их недавние защитники. Вирус осуществляет массовую охоту на людей, но, как видно из вышесказанного, результаты этой охоты не сводятся к его клиническим проявлениям.

За охотой скрываются самые разные акции, не только массовые, а может быть даже – совсем не массовые. Иногда дело вообще представляется таким образом, что вирус начинает казаться не серийным, а штучным убийцей, адресные жертвы которого остаются незамеченными на фоне повсеместных страданий. Такая избирательность, как мы знаем, также выступает элементом биополитики.

Подобным вопросам способствует то обстоятельство, что пандемия сочетает выравнивание всех по общему лекалу с новыми вариантами избирательного сродства.

Все сидят по домам, но ни у банкира, ни у слесаря дом больше не является крепостью, охраняющей частную жизнь. Все рискуют заболеть, но бессимптомное течение болезни почти равносильно загробному спасению в Средневековье. Все могут заразиться коронавирусом, но статус переносчика инфекции налагает большие обязательства, чем сама болезнь. Все могут умереть от хронической болезни, но к коктейлю ее симптомов прибавили коктейль симптомов ОРВИ, с которыми отождествили COVID-19. Всех могут лечить от коронавируса чем угодно

(специализированных лекарств все равно нет), но все могут по-разному переживать последствия подчинения жизни медицине. Все, как и прежде, могут умереть везде и всегда, но смерть от коронавируса неотличима от радикальной версии социального дистанцирования.

Минздравы всех стран объединились со статистическим разумом, чтобы вирусная популяция вошла в систему обмена. Любое существо в этой системе только тогда считается сущим, когда предварительно наделяется стоимостью. Потом можно будет списать на вирус любые траты и растраты, включая смерть, которая никогда еще во всемирном масштабе не приобретала такого устойчивого стоимостного выражения. Неизвестно еще, в чем наибольший урон от пандемии: в количестве смертей или в сведении смерти к количественным показателям. Редукция всех мировых проблем к вирусу едва ли не впервые в истории сделала смерть настолько удобной для бухгалтерии, обеспечила радикальную эволюцию трагедии в издержку.

Раньше, следуя поговорке, все издержки «списывала война». Однако количество жертв военного времени не меняло отношения к смерти. Будучи результатом встречи с боевым противником, смерть на войне только усиливала свои качества экзистенциального врага, чего не скажешь о смерти от коронавируса. Проблематизация «конца человеческого» стала больше напоминать смесь карты охвата общества медицинскими учреждениями, протокола о мерах по санэпидобработке и отчета об утилизации за истечением срока годности. На фоне исчезновения экзистенциального измерения смерти легко лишить должного резонанса уход отдельных людей, пусть даже известных.

Глава I. Вирус и жертвы

Апокалипсис как ярмарка тщеславия

Пандемия способна предоставить идеальное алиби. Все приобретают неожиданное равенство: давно болевшие неизлечимыми болезнями выздоравливают от коронавируса, ничем не болевшие здоровяки, по которым, казалось, хоть пушкой пали, напротив, умирают. Вирус или какая-то другая бактерия – они ведь не разбирают, кого косить.

На первый взгляд, перед нами великий уравниватель, больший большевик, чем исторические большевики. В спешке можно подумать, что он уравнивает всех подряд, исключая вопрос, кто конкретно умирает и зачем. Это не так. Равенство и неравенство не приходят такими, какими мы их ждем. Равенство и неравенство действительно ставятся на кон жизненного выбора, но в момент этого выбора они приходят неузнанными.

Как известно, «на миру и смерть красна», но красна совсем не смертной красой. Она раскрывается как бутон, открывая невиданные доселе возможности равенства и неравенства. Но если «на миру» погибает сам мир, эстетический эффект многократно усиливается. Апокалипсис превращает смерть в ярмарку тщеславия, которая оставляет от смерти только разыгранный по ролям силлогизм, в котором «все люди смертны». Посреди этой красоты вообще трудно на что-либо опереться. Даже на себя. Когда всеобщая смертность дана в ощущениях, первый удар наносится по самим ощущениям.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.